



Бесплотнее, чем время,  
беззвучней ты.

*И. Бродский*

Из тени в свет перелетая,  
Она сама и тень, и свет,  
Где родилась она такая,  
Почти лишенная примет?

*А. Тарковский*

- Ну и что? — холодно спросила Алёна, глядя на нечто, смотревшее на нее из зеркала. — Предполагается, что я запрыгаю сейчас от восторга?

— Минуточку... — сказал молодой человек, отражавшийся к зеркалу рядом с этим нечтом. Он снял с нечта веселенький розовый пеньюар и предупредительно взялся за спинку кресла, готовый его отодвинуть, чтобы нечту было удобнее встать. — Теперь прыгайте, прошу!

Ни нечто в зеркале, ни Алёна в кресле не шевельнулись.

Молодой человек с бейджиком, на котором было написано «*Сева*», поднял безукоризненные брови, явно удивленный, что не видит ни прыжков, ни восторга. С такими бровями люди обычно не рождаются, как не рождаются солдатами. С такими бровями они *становятся* по своей доброй воле после тщательного их, бровей, выщипывания, подбривания и подкрашивания. Обычно

данной экзекуции с готовностью, обусловленной многолетней привычкой, подвергают себя женщины. Молодой человек относился к редким представителям противоположного пола, которые придают своей внешности суперважное, можно сказать, основополагающее значение. Впрочем, на нем вообще пробы ставить негде было, начиная от бровей и кончая покрытыми лаком ногтями на пальцах ног, видных из умопомрачительных сандалет на платформе.

«Боже, ты все видишь, — безнадежно подумала Алёна. — Но где были *мои* глаза?! Поспешись — людей насмешишь, вот уж воистину!»

Она спешила. Она всегда спешила! И жить торопится, и чувствовать спешит — это не про Евгения Онегина, это про Алёну Дмитриеву, точнее, Елену Ярушкину, одну такую писательницу-детективщицу средней степени известности. А поспешишь, как известно и как упомянуто выше, — людей насмешишь. Так вот глядя на нечто, смотревшее на нее из зеркала, Алёна уже и смех слышала, и разинутые от хохота рты видела.

— Вы просто привыкли к своему новому образу, — сказал Сева. — К тому же, мадам, если вы были не готовы к резкой смене имиджа, вряд ли стоило идти стричься в экспериментальный салон.

— Да, не стоило, — согласилась Алёна. — Но в той парикмахерской, куда я обычно хожу, авария — нет воды. Мне нужно было подстричься, ну я и зашла в первую попавшуюся, а вы как раз оказались свободны...

— Вам повезло! — высокомерно сообщил молодой человек. — У меня расписан каждый час на месяц вперед. Но сегодня клиентка попала в аварию — ее «Мазду» срочно повезли в автосервис, — а потому она позвонила и сообщила, что не придет. Вы бы слышали, как она рыдала из-за того, что вынуждена пропустить свое время!

Бровям Алёны Дмитриевой было очень далеко до бровей Севы. Во-первых, она их не красила, во-вторых, не подбривала, в-третьих, иногда даже забывала элементарно выщипывать. Однако поднимать умела не менее выразительно и даже, не побоимся сказать так, весьма красноречиво. Сейчас ее поднятые брови сообщали о сомнении, будто дама рыдала по поводу отменившейся стрижки. Даме явно машину было жалко, вот и все.

Однако же и самомнение у этого Севы!

Между прочим, само имя такое — порождающее самомнение. Алёна знала пару, так сказать, носителей данного имени, и они оба жутко задирали носы. Примеры из истории (Всеволод Большое Гнездо) и из литературы (Всеволод Вишневский) не являлись исключением из общего правила. С другой стороны, у последних двух Сев имелись все основания для высокого самомнения. У прочих — не факт...

— С другой стороны, если вам так не нравилось то, что я делаю, давно нужно было сказать, — брякнул в ту минуту Сева. И совершенно напрасно брякнул.

— Да неужели?! — так и взвилась Алёна. — Да

я вам сто раз повторяла: не надо так коротко! Но вы продолжали щелкать ножницами, вас было просто не остановить! Не пойму, вы с плана сдачи остриженных волос работаете, что ли? — Алёна ткнула пальцем в кучку темно-русых прядей, которые уже сметала в совочек проворная уборщица.

Кучка собралась немалая. Алёна носила волосы средней длины, примерно до плеч. Сейчас же ее голову плотно облегал пушистая курчавая шапочка, напоминавшая прическу негритянки.

В детстве у Лены Володиной, как звали в ту пору нашу героиню, была кукла-негритяночка Салли. Теперь Алёна смотрела на себя в зеркало и вспоминала детство. Одно утешало: в порядке эксперимента Сева не покрасил ей волосы в черный цвет и — для резкой смены имиджа — заодно не вычернил ей кожу, не то сходство с Салли стало бы полным: у куклы было совершенно такое же глупо-ошарашенное выражение курносого личика, как сейчас у Алёны.

— Я с самого начала, когда села в кресло, предупредила: хочу подстричься чуть-чуть. Чуть-чуть, понимаете?! Только форму волосам придать. А вы что сделали?

— Между прочим, у вас череп удивительно красивой формы, и ваша новая стрижка ее только подчеркнула, — высокомерно сообщил Сева. — Будь моя воля, я вас просто-напросто наголо обрил бы. Такой череп, как у вас, грех скрывать от окружающих. Но я предвидел вашу ортодоксальную реакцию и не стал предлагать вам ничего по-

добного. На самом деле во всем виноваты ваши волосы. Я и вообразить не мог, что они так круто выются. По моему замыслу, короткие пряди должны были мягко облегать череп, а...

— Если вы еще раз назовете мою голову черепом, я вас... я вам... — Она хотела сказать: «Дам по физиономии», но только процедила сквозь зубы: — Я вам не заплачу за работу. Честное слово! У меня и так есть большое искушение не делать этого, поскольку результат мне не нравится, а уж если еще раз услышу про череп...

— С вас три тысячи пятьсот рублей, — торопливо проговорил Сева и принялся искать на шее Алёны заклею, фиксировавшую пеньюар.

— Что? — с трудом пошевелила она вмиг онемевшими губами. — Что вы сказали?

— Три тысячи пятьсот рублей, — повторил Сева. — Включая мытье э-э... головы...

Неужели он хотел сказать — черепа?!

Алёна не стала заостряться на том, что дважды ему повторила, мол, че... в смысле, голова у нее чистая, только утром вымытая. И это была правда, она вообще мыла голову каждое утро, поскольку лишь тогда ее легкие, пышные и кудрявые волосы красиво лежали... Эх, как уместно здесь прошедшее время, однако! Но сейчас не до деталей. Три тысячи пятьсот рублей... Сто евро за то, что тебя обстригли практически наголо, причем даже не спросив твоего на это разрешения!

Помнится, в Париже Алёна позволила себе сходить в парикмахерскую. Всего тридцать пять евро, причем после каждого щелчка ножницами у

нее осведомлялись, не коротко ли, нравится ли мадам, а также не дует ли ей из окна (дело было летом) и удобно ли ей сидеть. Сплошная эстетика бытия! А здесь...

Но теперь уже не до эстетики. Теперь вопрос стоит куда серьезней: есть ли у нее с собой такие деньги? Или ей предстоит публичный позор из-за широты натуры и беспечности? Нет бы сначала взглянуть на прейскурант, а уж потом в кресло перед выщипанным Севой плюхаться!

Алёна мысленно обшарила карманы и карманчики своей очень многокарманной сумки — и вздохнула с облегчением: вроде бы позора не будет. Однако в дальнейшем ей придется поприжаться в тратах. С другой стороны, с новой прической на шампунях можно долго экономить...

Алёна скрипнула зубами (ей всегда казалось неестественным упоминание в романах о скрежете зубном, но сейчас она поняла, что фраза как раз весьма жизненна!) и принялась выворачивать карманы сумки. Сева стоял над душой и внимательно наблюдал за ее действиями. Тут же ошивалась барышня из рецепшн, держа руку на мобильнике: наверное, чтобы вовремя вызвать милицию, если скандальная клиентка вдруг окажется неплатежеспособной. С не меньшим любопытством наблюдали за происходящим и прочие посетительницы салона: одна ради такого дела высунулась из-под фена, другая сидела в кресле и крутила головой направо и налево — от Севы к Алёне, — а поскольку ей мелировали волосы и вся голова (череп, а?) была украшена смешными

рожками из фольги, казалось, будто за земными проблемами наблюдает некая инопланетянка, а рожки — вовсе не рожки, а антенны, с помощью которых на какую-нибудь там альфу Спика идет передача информации о поведении аборигенов третьей планеты от Солнца. Еще одна дама просто стояла у дверей с озабоченным видом. Когда она чуть поворачивала голову, сквозь ее локоны вспыхивали радужными огнями бриллианты в серьгах. Вроде бы там имели место быть еще какие-то камни, синие. Очень может быть, что сапфиры, да какая разница, главное — это было потрясающе. Алёна непременно разглядела бы серьги получше (она вообще была к серьгам равнодушна, равным образом к бриллиантовым, бижутерии и даже к оригинальной пластмассе), кабы у нее имелось время. Сейчас же ей хотелось как можно быстрее уйти отсюда, чтобы наедине с собой оплакать свою былую красоту. Причем слово «оплакать» не метафора, высосанная из пальца: Алёна натурально с трудом сдерживала слезы.

Сунув деньги барышне из рецепш и не удостоив Севу более ни единым взглядом, она пошла к выходу. Вдруг в дверь, оттолкнув даму в серьгах, ворвалась высокая рельефная брюнетка в белых бриджах, белой норковой курточке, в белых сапогах и с белой сумкой через плечо. Окинув салон безумным взором больших черных глаз, брюнетка, грохоча каблуками, кинулась к Севе и обняла его, совершенно скрыв под массой очень

длинных, очень густых и очень кудрявых черных волос.

Сева покачнулся, причем было трудно понять, то ли он не устоял под таким натиском, то ли попытался вырваться из объятий, но брюнетка, как выражаются тангерос, стояла на своей оси и фиксировала партнера.

— Севочка! — вскричала она пылко. — Ты знаешь, я отдала свою Масю уродам, пусть употребят ее как хотят, и приехала на такси. Я как позвонила тебе, что не приду, так стала натурально больная. Просто не могла пережить, что тебя не увижу! К тому же мне так надоели эти патлы! — Она тряхнула избытком своих волос, отчего по салону распространился головокружительный аромат незнакомых Алёне духов. — У меня от них голова болит, и я ими за все цепляюсь. Хочу, чтобы ты меня постриг коротко, короче некуда. Желаю начать новую жизнь! Мася сдохла, тут уж ничего не поделаешь. Мне все равно новую тачку придется покупать, и пусть это будет какая-нибудь отвязная «Ланча», что ли. Но ты же меня знаешь: новая машина — новый имидж, новая прическа!

Первый миг оторопи миновал, и Алёна, которая была в принципе дамочка с фантазией и весьма востра умом (без названных составляющих невозможно написать даже одного-разъединого детektivчика, а не такое ненормальное их количество, которое вышло из-под пера нашей героини), догадалась, что сдохшая Мася, которую отдали на употребление уродам, скорее всего, авто-



мобиль под названием «Мазда». Писательнице как-то приходилось общаться с человеком, который называл свой «Рено» Ренатой, так почему «Мазде» не быть Масей, так же как «Форду» — Федей, «Мицубиши» — Мишаней, «Гойоте» — Тоней, «Ягуару» — Яшей, «Волге» — Вовой, а «Хонде» — Фросей? При чем тут Фрося, спросите вы? Мол, не просматривается ассоциативная связь. Ну а в других случаях она просматривается, что ли?

Умение мыслить логически подсказало нашей героине, что брюнетка в белом — та самая клиентка, вместо которой она угодила в кресло экспериментатора Севы. Ага, значит, тот не лгал, уверяя, что дама рыдала по телефону. В самом деле, очень похоже, что рыдала она не из-за покаленной Масы, а из-за невозможности явиться к Севе. И вот, вы только поглядите! Явилась-таки! И хочет постричься налысо!

Где-то Алёна читала, что древнегреческие (а может, древнеримские, или еще древнекакие-то) женщины в знак скорби по усопшему супругу состригали себе волосы и сжигали их на его погребальном костре. Может статья, если Маса окажется невозстановимой, брюнетка устроит ей пышную кремацию и бросит в костер свои тугие черные локоны, которые срежет Сева...

Фантастика, честное слово!

Экзальтированная брюнетка между тем оторвалась от Севы, сгребла с его лица и тела массу своих волос (ей-богу, об этом избытии так и хотелось выразиться по-старинному: власов!) и

плюхнулась в кресло. Откинулась на спинку, вытянула ноги и блаженно замерла, ожидая мгновения, когда ее головы (черепа?) коснутся руки парикмахерского божества.

Однако божество стояло, нерешительно пощелкивая ножницами (наверное, так Зевс поигрывал перунами, размышляя, к чему бы руку приложить, титанов в Аид низринуть или не в меру ревнивую Геру стегануть для острастки) и поглядывая то на брюнетку, то на даму в бриллиантах.

Смысл сей мизансцены внезапно сделался вполне понятен Алёне. Так ведь сейчас настала очередь стричься именно этой дамы! А брюнетка уже расселась, и не похоже, что ее возможно с места сдвинуть.

А между тем придется.

— Валечка, — робко заговорил Сева, — лапа, давай запишемся на какой-нибудь другой день, а? Ты же опоздала, твоя очередь уже прошла... Хочешь, приходи через две недели, а, зая?

Алёна снова скрипнула зубами (эдак и эмаль стереть недолго, честное слово!) — «лапа», да еще и «зая»! Нет надо поскорей уходить из этой парикмахерской!

Как назло, она уронила сначала шарф, потом перчатки, потом пачку одноразовых платков... Вообще процесс одевания как-то неоправданно затянулся.

— Через две недели?! — так и взвилась брюнетка. — Какого ...?!

Услышав употребленное ею слово, Алёна уро-

нила все, что только что собрала с полу. О зубах лучше вообще молчать.

— Ну, лапа... — виновато пробормотал Сева. — Ты же знаешь, у меня запись, а сейчас очередь вон той дамы... Если бы ее не было, тогда, конечно, зая...

Брюнетка повернула голову в сторону обладательницы бриллиантовых серег, и Алёне вдруг показалось, что ворох ее черных кудрей зашевелился — некоторые пряди будто начали приподниматься, раскачиваться и потянулись к сопернице в борьбе за парикмахерское кресло и Севу...

«Медуза Горгона! — мысленно ахнула Алёна. — Ну один в один!»

— Извините, — поспешно произнесла дама в серьгах. — Я раздумала стричься. Я... запишусь на какой-нибудь другой день, попозже. Прошу прощения. Всего доброго!

И ринулась из зала, схватив с вешалки сиренево-серую шубку. Конечно же, норковую, как же иначе. Вообще на вешалке обитали сплошь норки. А среди них был один стриженный мутончик с ламой, и принадлежал он, извините, писательнице Дмитриевой.

Черные локоны перестали шевелиться. Змеи успокоились и улеглись на прежнее место. Они ведь не знали, что Медуза Горгона решила с ними расстаться, не то уж точно закусали бы ее на смерть!

Алёна наконец оделась и, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, отправилась восвояси. Настроение у нее неожиданно исправилось, и

это свидетельствовало, во-первых, о том, что все на свете относительно, даже потеря кудрей, а во-вторых, о том, что наша героиня была весьма непредсказуема как в настроениях своих, так и в поступках, в чем нам еще не раз предстоит убедиться.

Она вышла из салона, поежилась, ощутив, как холодно стало теперь голове, но решила больше не заикливаться на неприятных эмоциях, а искать позитив, и, подняв воротник, спустилась с крыльца, намереваясь отправиться на поиски означенного позитива в ближайший книжный магазин. Сейчас бы очень не помешала какая-нибудь новая Гавальда... а может, старый любимый Борхес, книжка которого у Алёны когда-то была, но куда-то запропала (наверное, затырил какой-то злодей, взявший почитать и не вернувший). Вопреки расхожему мнению о том, что чукча не читатель, чукча — писатель, писательница Алёна Дмитриева читала много. Ну, может, потому, что была все же не чукчей, а вполне русской, правда, с дальней примесью капельки буйной абхазской крови, что и делало ее такой порою вспльчивой... но отходчивой, заметим. От крыльца в обход дома к тротуару вела узенькая дорожка, и на ней стояла, загораживая путь Алёне, дама в бриллиантах. Она застегивала шубку и, услышав за спиной шаги, обернулась.

А Алёна, взглянув на нее повнимательней, даже споткнулась, с трудом сдержав восхищенное «ах!».

На самом деле ослепляли вовсе не бриллианты в розовых ушках — поражала воображение са-

ма дама. Ей было лет шестьдесят, не более (ну да, пустячок такой!), однако она выглядела совершенно так, как, по мнению Алёны, должна была выглядеть настоящая столбовая дворянка. Великолепно одета, разумеется, не в турнюры и кринолины, а в полном соответствии с современной модой — только очень изысканно и дорого. Самая малость макияжа, а духи... ого какие духи! Явным образом не на пенсию *grande-dame* существовала, одевалась вот в такие легонькие норковые шубки и сапожки змеиной кожи, вдевала в ушки какие-то немыслимые серьги и причесывала свои темно-русые, с продуманной сединой волосы (зачем еще какой-то Сева ей понадобился, совершенно непонятно?), а также посещала салоны красоты. Все как надо! С нее бы портрет писать великому художнику да подпись к нему поставить примерно вот такую: «Портрет графини N.N.». Или даже — княгини... При том совершенно ясно, что родилась она году примерно в тысяча девятьсот сорок седьмом, то есть в то время, когда дворянство, тем паче столбовое и титулованное, было уже выкорчевано, или, выражаясь языком соответствующей эпохи, ликвидировано как класс. Но слово «порода» само собой приходило в голову при первом же взгляде на точеное, худое лицо, покрытое патиной морщин словно нарочно для того, чтобы подчеркнуть изысканную давность происхождения красивой, все еще очень красивой дамы со стройной фигурой. А стоит только представить, какой она была

в минувшие, молодые свои лета! Именно о таких говорят: «Из-за нее города горели!»

Алёна тихонько вздохнула. Она тоже была ничего себе, и в минувшие годы, и в описываемое время, однако города из-за нее точно не горели. Чего не было, того не было. Впрочем, может, оно и к лучшему. Вот еще пожаров не хватало...

Дама улыбнулась Алёне и вдруг сказала:

— На самом деле я должна вас поблагодарить. Увидев, что юноша сделал с вашими волосами, причем не обращая внимания на протесты, я поняла, что мне этого точно не надо.

От ее жизнеутверждающих слов Алёна чувствовала, что порция позитива ей потребуется побольше, чем планировалось сначала. Придется купить и Гавальду, и Борхеса, а также прихватить какой-нибудь красивый альбом. Желательно о мифологии в искусстве — именно такие картины всегда невероятно повышали Алёне настроение.

Она с усилием улыбнулась, ощущая себя невероятной уродиной.

— А знаете, — проговорила дама задумчиво, меряя ее пристальным взглядом, — я вообще-то чушь спорюла. Как ни странно, стрижка вам идет. И не пойму, в чем дело. То ли у вас такой тип лица, которому все идет, то ли в самом деле Сева гениален.

— Это у вас такой тип лица, которому все идет, — усмехнулась Алёна. — Так что вы вполне могли остаться и обрить голову.

Дама была красивая, слов нет. Но бестактностей Алёна терпеть не могла!

У дамы возмущенно раздулись ноздри, но тут же она усмехнулась:

— Один — один! Извините, я ляпнула не подумав.

— И вы меня извините, — прочувствованно сказала Алёна, но не став уточнять, что сама-то она ляпнула подумав.

В ту минуту позади них послышался резкий звук распахнувшейся двери, а потом всполошенный голос:

— Наталья Михайловна!

Дама обернулась.

С крыльца слетел Сева. Чуть не упал, поскользнувшись платформами на обледенелой дорожке, смешно вильнул своими худыми ногами, обтянутыми чрезмерно узкими брюками.

— Наталья Михайловна, сейчас позвонила клиентка, которая должна была прийти через час. У нее проблемы — срочно надо собаку в ветеринарную клинику везти, она просто рыдала оттого, что вынуждена пропустить свое время, но, во всяком случае, через час я вполне могу заняться вашими волосами. Может быть, вы подождете? Мы можем предложить вам кофе... чай... зеленый или черный, на выбор.

— Спасибо, нет, — мягко сказала Наталья Михайловна. — Вы извините, но я ведь практически случайно здесь оказалась. Обычно к своему мастеру хожу, а она заболела, вот я и заглянула сюда. Тем более салон напротив моего дома, да такая вывеска у вас эффектная.

Она махнула рукой, указывая на висящую

сбоку от двери огромную пеструю бабочку из какого-то блестящего материала, напоминающего шелк. Парикмахерская называлась «Мадам Баттерфляй», что говорило об эрудированности ее владельцев. Ну кто, в самом деле, кроме сугубых знатоков и любителей, помнит сейчас старую оперу Пуччини, которая куда чаще именуется по-другому — «Чио-Чио-сан». Да и про Чио нынче никто не знает, вот разве что кто-то вспомнит, что есть такая песня группы «Кар-мэн»...

— Ой, вы оценили, да? — Сева зарделся, как невинная девица, даром что был ростом под метр восемьдесят и мускулист. — Это я придумал. Красиво, верно? Моя любимая бабочка — орнитоптера крезус Валлас. Описана лепидоптерологом Валласом в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году.

— Кем Валласом? — растерялась Алёна.

— Лепидоптерологом, — повторил Сева. — Лепидоптеролог — человек, изучающий бабочек. Лепидоптерология — наука о бабочках, слово произошло от латинского *lepidoptera* — бабочка.

— Снимаю шляпу! — восхитилась Алёна. — То есть сняла бы, если бы она у меня была. Такие энциклопедические познания... Честно говоря, я тоже на бабочку загляделась, вот и зашла. Умеете людей приманивать, ничего не скажешь... — Она грустно вздохнула.

— Вы, наверное, в какой-нибудь энциклопедии картинку увидели, да? — спросила Наталья Михайловна.

— Да я вообще лепидоптерологией с детства



увлекался, — сказал Сева. — Особенно бабочками. Когда классе в восьмом учился, даже думал на биофак поступать. Потом заболел визажем, но страсть к бабочкам осталась. Обожаю бабочек и цветы! Они, как мне представляется, бесполы — совершенные существа, андрогины, какими люди были, по античным представлениям, раньше, до того, как боги разделили их на мужчин и женщин.

Так, кое-что во внешности женственно-брутального Севы стало объяснимо. Вообразил себя андрогином? Или... не вообразил? А впрочем, его дело!

— Бесполы, значит? — хмыкнула Алёна. — А как же насчет пестиков и тычинок у цветов? А у бабочек ведь тоже, кажется, есть самцы и самки.

— Их тоже разделили боги, — горько вздохнул Сева и покачал головой, как будто осуждал проступок сей, совершенный богами без спроса у него. — Я ведь говорил только о своем восприятии. Мне кажется, что два крыла бабочек — образ их двуединой сущности...

— Минуточку! — возразила Алёна, сама не понимая, почему не может уgomониться и оставить в покое несчастного андрогина вместе с его фантазмагориями. — Но вот у человека две ноги и две руки. Это тоже символ его двуединой сущности?

Сева посмотрел на нее сверху вниз:

— Вы просто ортодокс. Вы мыслите схемами. Мне вас по-человечески жаль...

— Да не ортодокс я, а просто спорщица, —

покаянно призналась Алёна. — Извините. Это от растерянности. Просто мне ни разу не приходилось видеть парикмахера — лепидоптеролога.

— Да какой я лепидоптеролог? — смешно сказал Сева с интонациями некоего мельника, который уверял, что он ворон, а не мельник. — Я увлечен только бабочками. И не я один, такое впечатление. Хотите, что-то покажу?

Оскальзываясь и для поддержания равновесия взмахивая руками, словно бабочка крыльями, причем широченные в проймах и сужающиеся к запястью рукава его бледно-голубого (хм-хм...) рабочего халата усугубляли сходство, Сева заспешил за угол дома, приглашающе улыбаясь дамам. Те озадаченно переглянулись и заспешили за ним, чтобы увидеть... серую унылую стену, на которой были нарисованы две бабочки. Одна была зеленая, ярко-зеленая, как на вывеске, а вторая — сапфирово-синяя, с белыми пятнышками на крыльях.

— Боже! — обронила Наталья Михайловна.

А писательница Дмитриева только головой покачала. Рисунок был поразительно хорош! Рисовали, видимо, цветными мелками, но такими яркими, что цвет не поблек даже на сером бетонном фоне. Бабочки были совершенно огромными, живыми, вот только что не трепещущими, и если бы Алёна не убоялась трюизма, который ближайший родич банальности, она непременно подумала бы, что эти бабочки вот-вот готовы вспорхнуть со стены и пуститься в полет над подтаявшими мартовскими сугробами.

— Бабочка Зефир бриллиантовый! — произнес Сева голосом завязаного конференсье, представляющего публике новую звезду. — А также бабочка сапфировая, иначе говоря — морфида Менелай!

— Менелай — это который обманутый муж Елены Троянской? — уточнила Алёна. — Странно, мне он представлялся довольно-таки невзрачным существом. А в его честь такую красоту назвать...

— Вопрос не ко мне, — сказал Сева, — но эта бабочка в самом деле так называется и так выглядит. Удивительно точно нарисована, знаток работал.

— Зефир бриллиантовый? — недоверчиво повторила Наталья Михайловна, разглядывая зеленую бабочку. — Зефир...

— Про зефир — худо-бедно понятно, — задумчиво произнесла Алёна. — В античной мифологии Зефир — бог западного ветра... Ночной Зефир струит эфир, бежит-шумит Гвадалквивир, и всё такое. Бабочка легка, как ветерок. Аналогия налицо. Но почему зефир бриллиантовый, если он такой зеленый?

— Он не просто зеленый — он блестящий, — запальчиво возразил Сева. — Я знаете сколько времени такой материал для выставки искал, чтобы блеснул даже в пасмурный день! Ведь значение слова «бриллиант» — блестящий.

— Ну да, — недоверчиво покачала остриженной головой Алёна. — Значит, зеленка, ну, бриллиантовая зелень, которой царапины мажут, по-

вашему, тоже блестящая? Да нисколько! Зеленая, как зелень, и жутко пачкается.

Сева посмотрел на нее свысока:

— На самом деле бриллиантовая зелень — это порошок из кристалликов зеленовато-золотистого цвета, его разводят на пятидесятипроцентном спирту. Порошок блестит, поэтому называется не только бриллиантовая, но и блестящая зелень.

— Так это вы зефир с Менелаем нарисовали? — насмешливо осведомилась Наталья Михайловна.

— Нет, — громко вздохнул Сева. — Не наделен талантом, увы. Только в воображении рисую образы и воплощаю их в жизнь... — Он мечтательно поглядел на прическу Алёны, но тотчас воровато отвел глаза. — А вот одна моя клиентка... да вы ее видели, Валентину-то... и рисует прекрасно, и делает потрясающие броши и заколки из бисера. У нее обширная клиентура, потому что ее изделия выглядят просто потрясающе, украсят... — Внезапно Сева оборвал свою речь, в которой появился отголосок рекламного пафоса, и в его глазах мелькнуло выражение ужаса: — О боже, да ведь я и забыл, что меня Валентина ждет!

И, даже не простившись, он убежал, стуча платформами, к своей Медузе Горгоне, на голове которой уж небось всюю зашевелились нетерпеливые черные змеи.

— Терпеть не могу бабочек! — вдруг сказала с отвращением Наталья Михайловна. — Возьмешь их за крылышки — так мерзко шелестит под

пальцами, бр-р! И пыльца осыпается, аж сухо в горле становится. — Женщина передернулась. — А как они лапками судорожно сучат, вы обращали внимание?

Алёна же обратила внимание на слово «сучат», подумав, что ежели бы саму Наталью Михайловну досужий лихоимец вдруг схватил за крылышки (ну, конечно, при условии, что они у нее откуда-то вдруг взялись бы), она небось тоже засучила бы и лапками, и ручками, и ножками. Однако наша героиня дипломатично выразилась в том смысле, что трогать бабочек необязательно, если так уж неприятно, а лучше смотреть на них издалека, ибо они и впрямь напоминают ожившие цветы, если употребить чье-то расхожее выражение. Автора выражения, впрочем, вспомнить Алёне не удалось, зато она внезапно взяла да и блеснула эрудицией, вспомнив, что Набоков, к примеру, бабочек просто обожал, не зря же написал:

Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей, вот распахнулась она; сквозь этот бархат живой сладостно светится ряд васильково-лазоревых зерен вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь. Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья, то припадая к коре, то обращаясь к лучам... О, как ликуют они, как мерцают божественно! Скажешь: голубоокая ночь в раме двух палевых зорь...

Тут чтица-декламаторша умолкла, ибо у Натальи Михайловны вдруг возникла такая тоска в глазах, что Алёна сочла за благо затолкать набоковский дактиль в те же бездны памяти, откуда он столь внезапно и прихотливо возник. Надо

было срочно принимать какие-то меры, дабы сгладить невыгодное впечатление (наша героиня была мнительна), и Алёна примирительно сказала:

— А все-таки красивая картинка. И жителям вон того дома повезло, — она махнула в сторону очень барственного четырехэтажного особнячка недавней постройки — из тех, к которым в Нижнем Новгороде прочно прилипло определение «элитка». — А то смотрели они с осени до весны на голую серую стену... Ладно еще летом — кусты, трава, цветы, сейчас же такая тоска... Зато теперь вот бабочки к ним прилетели!

Проходивший мимо невысокий мужчина несколько угрюмого вида, с бородой и в очках, при виде бабочек вдруг ахнул, остановился, достал из огромной сумки, висевшей через плечо, фотоаппарат (с длинным объективом, не мыльницу какую-то!), сфотографировал бабочек и двинулся дальше гораздо бодрее, чем прежде. Конечно, лица его Алёна уже не видела, но ей почему-то показалось, что на нем наверняка поубавилось угрюмости. А может быть, даже заиграла улыбка.

— И вообще, — продолжала фантазировать Алёна, — если бы я могла, я бы всю эту унылую стену без единого окошка изрисовала цветами, бабочками и облаками, между которыми летали бы ангелы!

— Вы случайно не учителем русского языка и литературы работаете? — снисходительно осведомилась Наталья Михайловна.

— С чего вы так решили? — изумилась Алёна.

— Да вот сказки сочиняете, стихи деклами-

руете, — пояснила Наталья Михайловна и улыбнулась так, что Алёна немедленно вспыхнула:

— Нет, я не учительница, а частный детектив.

В принципе она не столь уж сильно соврала, поскольку в своих романах выступала в роли преступника и следователя в одном лице, изо всех сил стараясь сначала себя запутать, а затем успешно распутывая собственные коварные замыслы. Конечно, Алёна не ожидала, что Наталья Михайловна сделает такое лицо и такие глаза.

— Послушайте... — заговорила она потрясенно, — а ведь я как раз ищу человека, который мог бы расследовать преступление!

— Преступление? — зачем-то переспросила Алёна.

Наверное, затем, чтобы получить исчерпывающий ответ:

— Ну да. Преступление. Убийство.

*1918 год*

«Ну, кухарка, — подумала Аглая. — Ну и что такого?» И пожала плечами.

Так она думала за последние полчаса раз примерно десять. И пожимала плечами столько же раз.

«Если этот мир не может стать таким, каким ты хочешь его видеть, надо самому стать таким, каким хочет видеть тебя этот мир», — говаривал ее отец. Он уже был тогда болен, чувствовал, что скоро умрет, но старался жить, не скрипя зубами от боли, а получая от жизни удовольствие. Для него удовольствие было не в изобильной еде и

питье (с его-то больным желудком!), не в разгуле и роскошестве (с его-то вечной нищетой, к которой приучила жизнь на нелегальном положении), а в работе. В школе для крестьян, которую он устроил в имении. Днем в ней учились дети, вечерами она открывалась для взрослых. Правда, взрослые, само собой, туда и не заглядывали, но отец верил, что все со временем переменится, люди просто должны привыкнуть и тогда придут.

Особенно много таких надежд отец лелеял после того, как в феврале скинули царя. «Вспомнил свою молодость», — снисходительно подумала тогда Аглая, которая знала, что двенадцать лет назад, в девятьсот пятом году, на баррикадах в Москве отец всерьез «делал революцию». Там же он получил пулю в живот, но каким-то чудом остался жив, только — на всю жизнь болен. И смирился со случившимся, постарался сделаться таким, каким хотел видеть его этот мир. Революционеру невозможно сообразовать свою жизнь с шестьюразовым питанием, и протертыми супчиками, и паровыми котлетками, и жиденькой нежной рисовой кашкой. Но небогатому помещику, владельцу небольшого имения в пятнадцати верстах от Нижнего, можно вполне. Он распростился с «бурями молодости», как он это называл, и вернулся к жене, ранее покинутой за то, что, полюбив молодого социалиста, не решилась уйти за ним в «новую жизнь».

Именно тогда Аглая и увидела отца впервые. Ей было в ту пору тринадцать, и она не скоро привыкла к изможденному, тощему, желтолице-



му человеку, который поселился в их с матерью доме и вокруг которого отныне завертелась вся их жизнь. Потом привыкла и даже полюбила его — особенно когда в одночасье сгорела от инфлюэнцы, подхваченной во время краткой поездки в город, мама... Дочь и отец очень сошлись, жили, поддерживая друг друга и дружбой, и начавшей пробуждаться родственной любовью, и истинной страстью к делу рук отца: народной школе. И чем все кончилось?! Отец умер, увидев, как «крестьянские дети» радостно подождли дом, в котором она размещалась. Для детей школа была всего лишь «пережитком старого мира», который в октябре семнадцатого рухнул окончательно. Господский дом, стоявший почти вплотную к школе, не сгорел только чудом: ветер внезапно переменялся и понес пламя в другую сторону, к деревне, так что сгорело несколько овинов, за что поджигатели были крепко выпороты по постановлению сельского схода. Однако стену дома опалило изрядно, отчего внутри поселился неискоренимый запах холодного дыма, ставший для Аглаи самым страшным на свете запахом — знаком разрушения и смерти.

Она не любила вспоминать ужас прошедшего года, проведенного в родительском доме. Жизнь была лишенной надежд, она была обреченной, Аглая каждый день говорила себе, что надо уйти отсюда, из деревни, где она стала чужой всем и где все стали ей чужими. Даже жалости от людей, которые равнодушно смотрели, как горит школа, она не хотела. Конечно, надо было уйти раньше,